

Наталья Корнилова

# *Отшельница*

Повесть о Минске, и минчанах, и о  
любви, конечно



Наталья Корнилова

**Отшельница. Повесть о Минске,  
и минчанах, и о любви, конечно**

«Издательские решения»

## **Корнилова Н.**

Отшельница. Повесть о Минске, и минчанах, и о любви, конечно /  
Н. Корнилова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-835992-7

Стилистика рассказов Натальи Корниловой проста и максимально приближена к разговорному жанру. Поэтому читать эти истории можно в электричке, на работе в обеденный перерыв, на ночь, когда нет сил взяться за серьезного писателя-классика. Все события или реальны, или максимально приближены к сегодняшней нашей жизни.

ISBN 978-5-44-835992-7

© Корнилова Н.  
© Издательские решения

# Отшельница

## Повесть о Минске, и минчанах, и о любви, конечно

### Наталья Корнилова

© Наталья Корнилова, 2016

ISBN 978-5-4483-5992-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Здравствуйте! Решила вот поговорить, и знаю, что хоть кто-то найдет время меня послушать. Вот буду сама себе под нос говорить, а кто-то случайно услышит. А большего мне и не надо, вот только это знать, что услышали, да немного посопереживали. Это так нужно иногда, чтобы кто-то просто рядом вздохнул.



Меня зовут... То есть, меня звали Ирина Алексеевна Антонович. Почему звали? Ну, потому что сейчас же меня уже нет. Я умерла. Да не пугайтесь вы так – умерла я спокойно и просто от старости, по-человечески, так сказать. Правда, доживала старость свою отшельницей, но и это только потому, что сама так захотела.

У меня была счастливая молодость. Счастье мое заключалось в том, что я узнала любовь, что дано-то не всем. А я любила до обморока своего Петра. А Петя меня иначе, как «моя душа», не называл. Он жил мной и дышал мной до самой нашей старости. А потом счастье мое умножилось в тысячу миллионов раз – родился сын Юрка. Ну, если меня женщины слышат, подтвердите, что измерить ничем нельзя этой радости – держишь в руках свое творение, и слезы сами из глаз капая, капая.... В такой момент запросто из атеиста в глубоко верующего превратиться – душу впервые ощущаешь внутри себя. Какие уж тут обезьяны вместе с тем, кто придумал такой вариант происхождения человека?!

Знаю, о чем вы сейчас подумали – Вы подумали, что говорю я не по-старушечьи, языком молодым и правильным, так? Ну, придется просто поверить – я свою жизнь сознательную проработала учителем и редактором газеты столичной. Филолог я по образованию. И тут, на небесах, продолжаю совершенствоваться, подглядываю, кто там, что и как пишет. И иногда так хочется подкорректировать, ей – Богу.

Знаете, мне здесь нравится. Даже интересно. Можно сверху, как по телевизору, смотреть жизнь, то, что там, у вас на земле, происходит. Ага, только больше возможностей – и во времени можно заглянуть, куда хочешь, и «сериалы» выбирать, и свое теперь обозревать, да оценивать просто. Иногда так хочется изменить что-то, свернуть на другую дорогу, сказать человеку не те слова, там не плакать, тут не унижаться, но, увы... Не жалею о том, что было, так сказать. Режиссер тут – не я, сами знаете.

Ах, да... Отвлеклась, простите. Хотя, почему отвлеклась, вовсе даже нет. Вот с этого места очень удобно и рассказать свою историю.

У меня было тогда предчувствие. Когда все так уж солнечно, и так все складывается счастливо, всегда сердце подсказывает, что может что-то случиться. И ты боишься перемен, и ты бережешь каждую слезинку сына, каждую его улыбку, каждый день, прожитый с мужем, каждую ночь, и жгучее солнце не мешает, и дождь холодный – не враг... Но знаешь – вот-вот что-то такое скрипнет ржавой дверью и скажет: «Ну, все, счастливая женщина! Я пришло! Пожили счастливо – встречайте!».

И я перебирала вихор своего Петра по ночам и мысли тоже перебирала, стараясь придумать перемену – несчастье полегче, щадящее какое-нибудь. Ну, например, пусть я слегка заболею, пусть потеряю работу, или у Пети будет аппендицит. Только бы не с Юрочкой что-то. Пусть лучше пожар, наводнение, война, только – не Юра, только не трогайте моего ребенка.

Я не спала всю ночь, потому что руки мои не спали: одной покачивала кроватку с сыном трехмесячным, другая у меня всегда в волосах у Пети была по ночам, иначе не засыпалось.

Под утро уже встала, пошла тесто на пирожки замешивать. На улице, как днем, шум такой стоял, веселье, на которое не пожалуешься, от которого самой весело и грустно становилось. Я в этот год не учительствовала по понятным причинам, а мой класс как раз прощался со школой. Договорились накануне, что на вечер выпускной забегу на торжественную часть, а уж на следующий день к себе всех ребят пригласила на пирожки. Вот и гуляют, счастливые. Без меня. А бал выпускной раз в жизни бывает, понятное дело. А меня с ними, классной руководительницы, и нет. Жаль... Но мне в эту ночь уж очень тоскливо было, сосало что-то в груди, ныла душа. Я даже рада была, что со своими мужичками любимыми, а не в платье праздничном по набережной гуляю.

А потом мы завтракали. А потом мужу позвонили и просили срочно приехать, а потом все люди высыпали на улицу, как в новогоднюю ночь. Только на лицах была не радость и улыбки, а страх и слезы от прилетевшего из теплой июньской ночи известия – началась война.

А потом, потом... Вам о войне так много говорили и говорят, что еще один рассказ еще одной свидетельницы того черного времени вряд ли будет интересным и принесет что-то новое. Бомбежки, подполье, одним из руководителей которого, стал Петр, ежедневные известия о погибших друзьях, родственниках, учениках моих. И даже предчувствия не нужны – каждый день нужно ждать горе, ждать плохих новостей, да и просто жить необоснованным ожиданием следующего дня.

Быть готовым к тому, что тебя подгоняет дуло автомата и речь гавкающая, чужая, о красоте которой ты еще недавно рассказывала ученикам, нельзя. Стихи Гейне, которые почему-то именно сейчас, когда топала окоченевшими ногами по скрипучему обреченно снегу, прижав Юру к груди, вспомнились как пророчество:

«Сердца людские рвутся,  
А звёздам смешно бесстрастным;  
Лепечут и смеются  
Они на небе ясном:

«Да, всей душой друг друга  
Несчастные люди любят,  
Томятся от недуга  
И жизнь любовью губят.

Мы вечно знать не будем  
Томительной истомы,  
Несущей гибель людям, —  
Со смертью мы не знакомы».

Не знакомы, мол, так вот, познакомитесь сейчас.

Я шла в самом конце колонны. Мне все время хотелось догнать, спрятаться в середине, но ноги уже совсем не слушались. Рядом топал, тоже замерзший, как собака, немец – солдат, ровесник мальчишек из моего класса. И странное дело, мне было жалко и его.

Представляете, даже после того, как он выпустил автоматную очередь в упавшего в снег обессиленного старика, мне его было жалко. Дедушка споткнулся просто, он бы встал и пошел, но этот конвоир так быстро среагировал, будто только и ждал этой цели. Колонна как-то сразу сжалась вдвое, люди от неожиданно прогрохотавшей на весь лес стрельбы, от этого, не утихавшего еще минут пять эха, прижались плотнее друг к другу и продолжали свой путь в неизвестность молча, стараясь не в голос рыдать.

Конвоиры зачем-то время от времени менялись местами: те, что шли в начале колонны, переходили в ее конец, и наоборот. Мы как раз проходили по наполовину сгоревшей деревеньке, когда мой пацан – конвоир крикнул «Aendern sich! (Меняемся!)» кому-то в начало колонны и пошел, посвистывая туда, вперед.

В занесенном свежим и обильным снегом дворе, мимо которого я сейчас проходила, едва заметными темноватыми пятнами виднелись чьи-то следы – блины. Не немцы ходили тут недавно, а кто-то в валенках. Только валенки след такой оставляют бесформенный. На плетне под верандой висел старенький, припорошенный снегом, фартук. Старуха живет здесь, я поняла. Из деревни не ушла, куда ей бежать уж. А вот увидела, что кто-то приближается, обстреливая смертельными звуками лес, да и ушла от греха подальше. А замок давно замороженный, понятно почему – есть запасный, хозяйственный вход со стороны огорода – у всех так. А этот – парадный, для мирной жизни, когда соседи шастают друг к другу за солью – спичками.

Навстречу уже шел, постоянно задираясь с отстающими пленниками по дороге рыхлый немчура. Все мысли в моей голове в это время работали только над одним вопросом, и спорить им, мыслям, взвешивать все обстоятельства времени не было – заканчивался забор этой, последней по улочке, избы. Я резким рывком и последними силами бросила уже порядком замерзший ярко-синий сверток с самым дорогим, что у меня сейчас было, через ветхую изгородь. В тот момент, когда синее одеяльце с Юрой внутри утонуло в сугробе у крыльца, немец подошел уже совсем близко и крикнул конкретно мне: «Schneller! Schneller!». Он буквально запихнул меня автоматом внутрь колонны.

Умоляя Бога, в которого я тогда не верила, чтобы Юра не закричал и не умер в этом снегу, я, собрав остатки сил и, повинувшись команде, рванула в толпу выпучивших на меня глаза людей. Не оглядываясь назад в страхе быть обнаруженной, рыдала уже в себя и все быстрее и быстрее удалялась от деревни, ставшей теперь или могилой или спасением моему сыну.

Про тот путь, который я прошла до свежесрубленного барака концлагеря, рассказывать не буду – тяжелый был путь, с бомбежками по дороге, когда и самой уже умереть должно было хотеться. А не хотелось, про Юру своего только и думала. Про Петра не моглось думать, уговорила себя сразу же – буду считать, что жив – выживет. Не может он погибнуть, не встретившись со мной. Он крепкий, здоровый, он за нас с Юрой отвечает. Сам такую установку когда-то дал, сам пусть ее и выполняет. Если есть среди читателей матери, они меня поймут. Поймут, как нельзя ни есть, ни пить, ни идти и ни падать, когда все мысли, когда душа там, в том сугробе так и осталась. И я думала – раз душа моя вылетела у той избушки и до сих пор не возвращается, значит, она осталась хранить, а не хоронить мое дитя.

Сил идти тогда не было вовсе, слезы застывали ручьями на холодном лице, а ноги шли точно, уверена, не повелению мозга, кто-то их мне переставлял.

– Нюни свои убери, дочка. – Толкнула идущая рядом женщина – старуха. – Шас тот, молодой вернется, увидит, что дитя нет с тобой. Не выдавайся сама-то среди нас, тихонько иди, мороз ослаб почти, найдут твоего мальчика, найдут, не горюй, милая.

С той минуты я не плакала долго. Всю войну не плакала, ни разу, будто боялась в любой момент выдать слезами пропажу сына.

Один за другим из колонны падали люди. Кто на обочину, кто-то внутри толпы. Кого-то добивали, кого-то было лень. Мы шли, переступая через упавших, специально не обращая внимания – вдруг и конвоиры не заметят тех, кто отстал и остался на снегу, вдруг повеет выжить. У меня даже стала рождаться идея – тоже просто упасть, все равно еще немного и упаду не нарочно.

Как раз в эту минуту прозвучала команда «Rast! (Привал!)». Я до сих пор ненавижу ни отдых, ни привал, ни даже само это слово. «Движение – это жизнь» – самая главная поговорка, которую изобрело человечество. Верьте, я же отсюда говорю вам это.

Теперь, когда закончилась извилистая лесная дорога, мы только и заметили, какой длинной и оттого еще более ужасной была наша колонна. Мы вышли на огромное поле, которое отделяла от неба резкая черная полоса – железная дорога. Там, вдалеке, на этой сверкающей от яркого солнца железной черте стоял состав товарного поезда. Начало колонны от вагонов разделяли метров сто, не более. Колонну остановили уже из репродуктора, оттуда со стороны

железки. «Nicht bewegen! Sie haben eine Pr; fung auf der Flucht! (Прекратить движение! У вас будет соревнование по бегу!)». И смех, этот громкий смех смерти...

Движение прекратилось не сразу, замерзшие и ничего уже не соображающие люди по инерции продолжали идти, пока не встретились с автоматной очередью.

Даже в конце колонны было слышно, как попадали люди, стоящие там, впереди.

Я не могла шевелить языком и еле процедила в ответ на вопросительный взгляд соседа, паренька лет семнадцати: «По одному из колонны нужно бежать к вагону. Кто добежит, выживет, кто нет...».

На поле остались лежать не только те, кто бегать не очень-то мог и до войны: старики, дети. Много и молодых обессиленных пленников, пытаясь изобразить бег, получали пулю, едва споткнувшись или перейдя на ходьбу от бессилия.

Чем ближе подходила моя очередь, чем ближе хвост колонны приближался к поезду, тем явственнее я представляла, что там, в распахнутой пасти вагонных ворот, в той неизвестной черноте, закутанный в одеялко, лежит и ждет меня мой ребенок. Я не думала, смогу ли добежать, хотя ноги все больше и больше отказывались идти – я знала точно – Я добежу, мне туда нужно, Я справлюсь. Я не слышала гогота, я помню только два мгновения: когда на старте мои ноги кто-то сдвинул с места так, будто я всю жизнь готовила себя к этой стометровке, и тот миг, когда меня подтолкнул в спину приклад, когда я уже покачивалась на краю деревянного, покрытого инеем вагона, готовая упасть обратно.

Долгая холодная и голодная дорога казалась бесконечной. Население вагона менялось в пути, не уменьшаясь в количестве – одни умирали, других «довешивали» по пути. Бомбежки чудом обходили наш состав, а я разговаривала с Богом в полубреду до самой конечной станции – лагерного барака.

В первый же день немцы сделали сортировку, и среди нас уже не осталось ни одного еврея. И в бараке, как и в том вагоне – тюрьме, каждый день поселялись новые пленные, с появлением которых исчезали те, кто еще вчера считался живым.

Там, в бараке, я выучила единственную молитву, которую услышала от девочки – соседки. Я думала тогда: как странно – ни за что стихотворение нельзя выучить с первого раза, а вот «Отче наш» подслушала и запомнила на всю свою жизнь. Я добавляла к «отче» «миленький», я интонацией плакала, не слезами. Я умоляла Его, если Он есть, привести к тому крыльцу человека, я умоляла не присыпать утонувший в сугробе сверток свежим снегом, я умоляла хранить и Петра.

Это случилось уже летом. Мы складывали кирпичную стенку какого-то очередного строения. За проволокой на мужской территории лагеря сплошной вереницей двигались пленные – переносили мешки с чем-то непомерно тяжелым из машин в строящийся барак.

Сгорбившись в три погибели, они медленно шли друг за другом туда, и тут же, подгоняемые громким «schneller», возвращались обратно. Петю я узнала сразу. Страшно худой, похожий на всех остальных, он все равно остался высоченным и статным, а походку его перепутать с чьей-то другой было просто невозможно.

Там, в мирной жизни, я часто смеялась над этим перебором ног враскачку, как у моряка или гуся важного. Он шел устало, но, как и прежде, с достоинством, а покачивание из стороны в сторону казалось каким-то насмешливо – надменным. Я с ужасом подумала, что только за одну эту горделивую походку его запросто могут убить.

Крикнуть я просто не могла, слава Богу. От радости не могла. Во мне произошел такой надлом, я не могла сдержаться от волнения, но стиснув зубы, сжала, утопила в себе все эмоции, чтобы не выдать себя. Я просто знала, что Петя рядом и жив, и на этом этапе мне было пока достаточно одной только этой новости.

Не знаю, сколько ожидание длилось, но я, все-таки, дожидая до той минуты, когда проходя рядом с забором, поравнявшись с Петром, я сказала только одно громкое навзрыд и очень четкое, так, чтобы Петя услышал: «Юра жив!».

– Was? Was sagst du? – Фрау Визмар толкнула меня палкой в спину и дернула за рукав, остановив. Поскольку, она, как и многие другие, уже знала, что я говорю по-немецки, пришлось объясняться.

– Я сказала, что надо жить. – Испугавшись не того, что сейчас ударят или застрелят, а что случится это на глазах у Петра, что Юра так и останется в том пушистом сугробе, я в сотую долю мгновения сообразила произнести слово «жить» на случай, если надсмотрщица хоть немного уже знает русский.

– Vorw; rts! Und schweigen! (Вперед! И молчать!) – Гаркнула Визмар и опять больно ткнула палкой в спину. Краем глаза я видела, как остановился Петя, он узнал, услышал и все понял. Понял то, чего я на самом деле сама не знала – жив ли ребенок наш.

Если для кого-то война тянулась необычайно долго, для меня, как ни странно, она пронеслась до самого дня победы, как один день. День, состоящий из смерти, темного неба, трупов соседей из барачных, дыма черной трубы, из мимолетных изредка переглядываний с Петром. А еще – из куска, обмусоленного по очереди другими, черствого хлеба, из ночей, дней, криков, побоев, звуков автоматных очередей, свиста пуль, нашедших свое убежище в теле человека, из собачьего лая и лая из репродукторов, из других звуков. И даже из молчания, которое иногда висело в темном бараке, набитом не спящими и пока живыми людьми...

– Хорошо, что печь не топилась, опять сволочи эти рядом где-то... – Проворчала тетка Люда и стала быстренько натягивать на себя вторую, размером побольше, фуфайку. – ПалЯт уже на весь лес.

Она вышла с заднего двора и, ступая пошире вдоль кустов смородины, чтобы не оставить заметный след, побрела в лес к своей поляне, запрятанной в густом малиннике. Дорога к железнодорожному полустанку проходила как раз мимо ее хатки, чудом еще уцелевшей после бомбежки. Ночью немцы тут не ходили, и она протапливала тайком старенькую печку в пристройке со стороны внутреннего дворика, чтобы не выдать даже остатками сажи на снегу из печной трубы своего присутствия. Только ночью и можно было немного погреться. А днем уходила на поляну в лес.

После того, как из деревни ушли последние жители – кто на фронт, кто вникуда – тетка Люда, можно сказать, жила в лесу, как партизанка. Она разобрала кирпичную стенку, разде-

лявшую курятник и старую сараюху, натаскала этот стройматериал на поляну и соорудила там печку. Целыми днями она, пробравшись через заболоченный луг на свое импровизированное зимовье, носила хворост, сучья поваленных деревьев, топила эту печурку, грелась и доедала остатки картошки и прошлогодние заготовки из подвала. Уйти со всеми жителями из деревни она не смогла – день начала войны совпал с днем смерти матери. Случайно ли получилось так, что ее, парализованная и уже второй год лежащая, матушка скончалась в этот же день, или умерла она в минуту, когда услышала из радиоточки новость о начале войны, Людмила так и не поняла. Когда она вошла в хату после дойки, мать лежала с открытыми в каком-то выражении ужаса глазами и уже не дышала. Радио говорило и говорило о внезапном нападении и о страшной беде, свалившейся на весь советский народ.

Суматоха, слезы, сборы молодых парней и всего мужского населения, причитания их родственников, – всем было ни до каких-то похорон какой-то уже полуподзабытой парализованной старушки Ивановны. Людмила тихонько и почти незаметно переселила с помощью соседа умершую мать из избы на маленькое деревенское кладбище, проведя по всем правилам ритуал погребения, в том числе и поминки, в одиночестве за широким столом под образами. Выпила рюмку самогона, покушала плотно, легла на нерасстеленную кровать прямо в одежде, да так, жалобно скуля, а не рыдая, и уснула.

На все уговоры односельчан собрать котомку и уезжать из деревни срочно, она ответила категорическим «нет» – ее муж уехал в область оформлять пенсию и дочку с внуками навестить, да так и не вернулся. А к тому времени прошло уж две недели.

– Ждать Васю останусь, никуда не поеду, отстаньте. Немцы рядом? А я им зачем? Что взять с меня? Васю ждать буду, отстаньте.

Так и осталась она в пустующей деревне одна. Все собаки куда-то пропали вместе с жителями, ушли, наверное, следом, тоже от войны спасаясь. Людмила сидела в нетопленной хате, укутавшись всеми одеялами, и смотрела в окошко на горку – сейчас это была ее единственная цель. Деревня Ольховка находилась на ровной большой поляне среди елового леса, но эта равнинка на самом деле была глубокой впадиной, почти оврагом, и, скорее, напоминала предгорное селение, потому что уже через километр лес взбирался медленно и важно на крутой холм. Отсюда, из Ольховки хорошо была видна дорога, широкая разъезженная дорога из райцентра к железнодорожной станции. И гости, въезжающие в деревню или проезжающие транзитом мимо, просматривались заранее. Пока этот километр с горы спустятся, уже и знаешь, кто и куда направляется – свои ли, чужие, в каком количестве, да что с собой тащат.

Так и в то утро увидела Людмила огромную жирную извивающуюся по лесной дороге, поднимающуюся медленно в горку змею – колонну пленников. Крики, выстрелы и рев машин и мотоциклов прилетели еще раньше, когда там, на горе, только задрожал, заволновался лес еловыми лапами, полетел дымом с вершущек испуганный пушистый снег, будто извиняясь за свое неучастие в этом горе – походе.

Людмила чертыхнулась, быстро собралась и пошла в сторону леса, прячась за зарослями боярышника с необлетевшими пожухлыми листьями и звенящими на морозе крупными кровавыми гроздьями ягод.

Это была не первая страшная процессия, которую видела за эти полгода Людмила. И она знала точно, что назад вернется не скоро. Обычно те, кого гнали через деревню с утра, исчезали

бесследно, а назад возвращались уже только конвоиры пленных, и уже не пешком, а быстро пролетали по деревенской улице, спеша, видно, выехать из лесу засветло.

Когда в этот раз все утихло, и стрельба, и крики немцев, когда Людмила поняла, что можно возвращаться в оглохшую Ольховку, она затопила печку. Заварила чаю из малиновых пруточков, отогрелась ровно настолько, чтобы ноги могли двигаться, и пошла в сторону своей избы.

Каждый раз, возвращаясь из своего «подполья», тетка Люда боялась только за то, чтобы хату не спалили из простой вредности и непонятности – стоит одна, как волдырь, на дороге. Вход парадный давно занесен снегом, припорошен по самые окна, а по замерзшему ржавому замку должно быть понятно – дом пустой, безхозяйный.

Людмила опять натянула на себя многослойное покрывало и уж было задремала, обогрившись и навздыхавшись, когда услышала кошачий писк.

– Господи, а ты-то откуда? – вставать и вылезать из теплого гнезда не хотелось, но любопытство и радость от того, что рядом есть хоть кто-то живой, пересилило, и она вышла на порог.

Звук моляще усиливался, будто бы тот, кто его производил, боялся быть не услышанным.

– Кыс-кыс... Кс-ксс! – Позвала тетка Люда и прислушалась. Звук ближе не стал. Идти на парадную сторону избы было опасно – сейчас снег валит, а что, как вдруг успокоится на несколько дней – следы сразу увидят, и тогда уж с хатой можно прощаться.

Она решила вернуться, и тут же поняла по истошному и охрипшему голосу, что пищит не зверек – человек.

– Все, это – конец. Это – знак. И за что же мне это? – Тетка Люда впервые плакала, прижимая к себе черноглазого малыша. Она перепеленала его в чистые рубахи Василия, натерла самогоном, разжевала кусочек печеной картошки и, закрутив этот мякиш в марлю, дала малышу сосать. – Господи! За что ж ты меня так? Куда ж мне теперь? Детенка ж не выкинуть... – Горячие слезы катились сами по себе. Людмила уворачивалась, чтобы не капать соленым на посиневшее, припухшее личико малыша, который еще и улыбаться вздумал своей спасительнице.

– И-и-и-и... – Наконец, и она улыбнулась найденьшу. – Ну, что делать будем, подарочек? Уходить теперь тетке Людке придется отсюда. А Васю ждать? А где ж он, мой Вася сейчас? Вон, может сегодня и мимо хаты прогнали, а я и не знаю... Такое дело у нас, ребенок, такое дело нехорошее... А твоя мамка где? Бросила тебя за забор, бросила. Нет, нет, не бросила. – Тут же спохватилась она, потому что мальчишка зашелся на этих словах криком, будто поняв их смысл. – К тетке Люде бросила, чтоб тебя сохранить. Сохранять теперь будем, делать нечего, мальй. Вот поночуем, соберем мешок с едой, да и пойдем куда-то. Куда?.. – Вздохнула она и стала качать малыша на руках, убаюкивая и валясь от усталости с ног.

Ночью никак не спалось – и мальчик плакал с короткими перерывами на сон, и Людмила думала о своих. Где дочь, где внуки, где ее Вася сейчас? Василий буквально в начале июня вышел на пенсию, крепкий еще, молодой. Небось, на фронт попал, не иначе, думалось ей именно так, потому что представить его в этой сегодняшней траурной процессии никак не хотелось.

Людмила и сама еще была довольно молодой женщиной, вот только на инвалидности давно уже из-за своей ноги – в зрелом возрасте вдруг обнаружилось, что у нее врожденный вывих шейки бедра. Ковыляла, ковыляла, прихрамывала, а потом вдруг такое! И все. Пришлось только по дому теперь кондылять, только на домашнюю работу и оказалась годной. Ну, подменяла, помогала и на ферме, и другие «дырки» закрывала при молчаливом участии председателя. А официально уже работать на полную силу не могла.

И теперь эта болезнь, которая не очень-то, вроде, мешала, – с палочкой – посохом привыкла уже бегать, не то, что ходить, – представлялась страшной бедой. Сколько ж пройдешь с дитем на руках, с котомкой, да еще и с палочкой для опоры по такому снежищу. А, главное, – куда, куда ж идти-то?

И рано утром она пошла, привязав две торбы на шею: одну с малышом, вторую с запасом еды. Пошла в лес...

Так вот, я уже сказала, образно, конечно, что война для меня пронеслась одним мигом, мысли все были только там, в том глубоком снегу, куда провалился брошенный мной сверток – закутанный в одеяльце сын. Сама не знаю, как пережила других, сама не знаю...

Даже не болела, вся в струну напряглась на эти годы, да так и держалась чудом каким-то. Это я теперь понимаю, почему люди на войне гриппом не болеют – все болеют только одной эпидемией – выжить, остаться живым. Хотя, некоторые, дойдя до края, и сами просили смерти. Только не я. Цель каждого дня в лагере была – увидеть Петра за забором, засыпая благодарить Бога (уже Он для меня существовал тогда) за то, что муж жив, просить Его и завтра оставить мужа на этом, моем свете. И сына.

Нас никто не освобождал, нас стали бомбить сами немцы, когда началось их отступление. Закрыли ворота, выехали всем составом, а нас оставили. В лагере поднялась паника, люди ринулись в ворота, а с воздуха, сбрасывая часто, как картошку из мешка, бомбы, стал замечать следы, просто уничтожая этот город рабов, самолет со свастикой на низко висящем брюхе.

И все-таки, большая часть военнопленных спаслась, найдя силы добежать до леса. С Петром мы встретились далеко от лагеря и почти через сутки. А дальше были уже наши, была долгая и такая быстрая, незаметная по времени, дорога домой.

В лежащем в руинах Минске радость для нас была – уцелел совершенно и почти не изменился наш дом. Я тогда только подумала, что, наверное, для того, чтобы не отвлекать нас на устройство быта, нам провидение и устроило такой подарок. С утра до ночи мы вместе со всеми жителями города разгребали завалы, строили деревянные бараки – дома для вернувшихся минчан. А в свободное иногда время на отдых, в отличие от других, не валились от усталости и бессонницы с ног, а, наоборот, где на этих уставших ногах, где на перекладных все ездили, ездили, ездили по всей округе, пытаюсь найти ту деревеньку, которая стала пристанищем нашему ребенку. Ни названия самой деревни, никаких других ориентиров, кроме направления, я вспомнить не могла. Куда бы мы ни приезжали, все мне казалось очень похожим на те места: и лес такой же, и дорога, вроде, эта, и домик, вон, такой похожий. Но все было не то, не то... Мы расспрашивали людей, не слышал ли кто о таком случае, в ответ нам рассказывали другие, пострашнее, от которых совсем уже близко приближалась безнадега. Было бы совершенным чудом, если бы Юрка наш выжил. Но чуда хотелось, но следы, заметенные снегопадом у той веранды, я помнила, а потому верила сама и Петра заставляла верить.

Иногда, совсем уж отчаявшись, он спрашивал, не показались ли мне там темные круги от валенок, но я точно помнила, что видела их. И, если человек недавно ушел из дома, очень велика вероятность его скорого возвращения – куда ж идти отсюда, когда вокруг непроходимый лес, да немецкие эшелоны людьми грузят вокруг.

Прошло три самых несчастных в моей жизни года. Жизнь успокаивалась, люди стали потихоньку улыбаться, просто работать, просто есть, пить и жить. Однажды ночью Петр вдруг завел очень осторожно разговор о том, что детей должно быть много. Ну, не много, мол, но не один. Он, как бы оправдываясь, стал мечтать, что вот, дескать, и Юра найдется, и сестричка у него уже будет. Со мной случилась такая истерика, какой я не позволяла себе даже там, где на моих глазах убивали детей. Больше к этому разговору мы никогда не возвращались, а Петр, к тому времени уже работавший судьей в районном суде, используя все имеющиеся у него возможности, приступил к поискам сына с еще большими усилиями. Он делал запросы во все соответствующие инстанции, он знал все, что только мог знать о передвижении немцев в те дни, он разослал официальные запросы во все сельские советы, мы опять и опять объезжали все новые и новые деревни и села.

Однажды зимой, въезжая в очередную деревеньку, едва мы спустились с крутого лесистого холма по хорошо утоптанной широкой грунтовой дороге, меня вдруг словно молнией ударило – местность мне показалась до боли знакомой. А уже в начале улицы, я непроизвольно сфотографировала взглядом огромные заросли боярышника, которые служили с одной стороны крайнего участка забором – смысла нет ставить изгородь там, где колючки – шипы этого кустарника такие, что и коту не пролезть.

Огромные не собранные кроваво – красные замерзшие ягоды звенели на морозе колокольчиками, будто подсказывая мне: «Здесь! Здесь!».

Небольшая деревенька была выстроена новыми хатами, и только старенькое небольшое кладбище чуть поодаль слева подсказывало тот факт, что еще несколько лет назад здесь уже жили люди.

Когда в доме открылась дверь и выглянула женщина с огромной сумкой на плече, я только и заметила табличку над окошком – «Почта».

– Вам кого? Заходите, заходите. – Пригласила испугавшаяся, видно, казенной машины из города, молодая женщина. – Если позвонить, то – сюда, а у председателя провод оборвался, вызывали ремонтера сегодня только. Заходите, пожалуйста.

– Извините, женщина, можно у Вас просто спросить... – Почти теряя голос от бессилия, проговорила я, все оборачиваясь и оборачиваясь по сторонам и приближаясь к почтальонке. – Вы местная?

– Ну, можно и так сказать. А что? – Женщина с сумкой писем на боку заинтересованно подошла. – Ну, не совсем местная, с соседней деревни, с Уздянки мы.

– Мы? – Машинально повторила я. – А местные есть кто-нибудь в деревне?

– Не, местных откуда ж. Они когда уходили, под бомбежку попали. Всех, почитай, и убило. А сколько их там было-то, деревня домов в двадцать всего была, это сейчас вот выросла троти. А тут хатка была малая. В ней – да, в ней Людмила – инвалидка оставалась, мужика своего ждала, он как уехал перед самой войной в город пенсию считать, так и пропал. А она матку хоронила, матка ее померла аккурат в день войны, двадцать второго.

– Так, а она сама-то жива? – Я уже почти за воротник дергала почтальоншу от нетерпения.

– Не, померла. Тоже. Она, вроде как, партизанить ушла в лес. Долго тут одна куковала, а потом враз собралась и ушла. Так ее нашли. То есть, нашли могилку за нашей Уздянкой уже, в лесу. И табличка с именем ее стояла. А чего умерла, не знаю. Не от старости, еще не старая была, мож, подбили каким снарядам, а партизаны схоронили, может, еще чего.

Мы вернули почтальонку Зинаиду в домик – почту, а там продолжили разговор уже вчетвером – внутри еще одна женщина сидела в окошке. Тоже уздянская. Я рассказала свою историю, но это ничем не помогло – про тетку Люду слышали, про мальчика какого-то – никогда.

– Ну, значит, милая, партизаны его пригрели. Или замерз, скорее всего, по дороге.

Идти-то к нам далеко и здоровыми ногами, а Людмила ж инвалидкой была, я ж говорила. – Сделала заключение «добрая» Зинаида. – А где ж теперь искать чего, кто ж знает... А могилок больше никаких не находили. Да и безродного, может, так похоронили...

Видя, как я сползаю по стенке от обморока, Зина замолчала.

Петр, оставив меня в машине, обошел еще несколько дворов, сходил и к председателю. Информации другой не поступило, никто больше Зинаиды, как оказалось, и не знал.

Это был последний день, когда мы с Петром ездили на поиски. Дальше уже смысла не было, сдалась даже и я.

Мы вернулись в ту деревню, на ту дорогу смерти еще раз. Весной.

– Просыпайся, родная. Я тут одно дело замыслил. – Сказал вдруг однажды в воскресенье Петр. Поедем кое – куда.

Я без разговоров оделась, и мы вышли во двор. По дороге Петр рассказал свои догадки, я плакала, но согласилась. Мы нашли Зинаиду в Уздянке, и уже вместе с ней поехали на разговор к председателю. Увидев удостоверение Петра, тот сразу же согласился и даже предложил формальности не соблюдать, просто позвал двух мужиков, которым невпервой было хоронить на кладбище земляков.

Никакой официальной эксгумацией то, что мы сделали, назвать нельзя. В могилке под холмиком за Уздянкой находилось тело только одного человека – тетки Людмилы, малыша рядом не было. Не было и никакого холмика где-то в округе.

Мы попросили у председателя краску, на холм Петр прикатил огромный валун, а на нем я аккуратным своим учительским почерком написала красной масляной: «Людмила Авдеевна Скуратович. Умерла зимой 1941 г.».

Мы еще несколько лет продолжали писать во все военкоматы, службы поиска, обращались в газету, куда я устроилась позже подрабатывать редактором. Работы в школе, где я учительствовала, как и до войны, хватало только до вечера, а вечера нужно было заполнить еще чем-то. Одна в квартире я не могла находиться ни минуты, а Петр возвращался очень поздно, можно сказать только и ночевал. Подозреваю, что даже не служба в суде держала его до полуночи – он просто старался сократить наши вечера, как и я.

В газете появилась возможность и мне самой продолжать поиски сына. Я писала заметки, отслеживала почту с похожими историями, я продолжала искать.

В тот год, в точности, как в сорок первом, я выпускала в жизнь свой новый класс – десятый «В». Теперь у меня была возможность провести с выпускниками всю ночь – причин оставаться дома не было, некого уже охранять, как в ту ночь. Да и как оставить одних моих взрослых и ставших такими родными за несколько вместе прожитых лет ребят?

Всю ночь мы бродили по Минску, я даже ожила, даже пела с девчонками. И думала тогда, что вот и у моего Юрочки, если он жив, сегодня выпускной бал, и какая-то добрая женщина, его новая мать, сегодня всю ночь не спит, радуется и волнуется за своего сына. И за моего.

А на следующий день мы всем классом решили пойти куда-то на природу, в поход. С ночевкой в палатке, с костром, с купанием. В последний раз соберемся все вместе.

Петр организовал целый настоящий автобус, и мы, дружно и весело болтая, выехали за город.

За ночь никто не сомкнул глаз – ребята сейчас, ночью, у костра, так разговорились по душам, что казалось, раньше времени ни у кого на это просто не было. А утром, с первыми лучами солнца все отправились купаться. Лето было очень жаркое, а то июньское утро казалось необычно туманным и теплым.

– Грибы должны быть такую погодой. – Заметила я. – Ну, вы купайтесь, тут мелко, так что можно и без моей охраны, а я пройдуся, посмотрю, может, лисичек на супчик соберу.

– Я с Вами, Ирина Алексеевна! – Вызвалась Инга, моя гордость, отличница и активистка.

– Пошли, дорогая! – И мы отправились через дорогу в лес.

Мы шли и больше болтали, чем искали рыжие пятнышки в траве под березами. Уже через какое-то время стало понятно, что заблудились. Не было слышно криков с речки, а на наше ауканье никто не отзывался.

Успокаивая и подбадривая Ингу, я пыталась понять, в какую же сторону нам идти обратно. На наше счастье, вскоре где-то совсем рядом проехала машина.

– О! Дорога там, пошли, Инга. А там уж у кого-нибудь спросим. А может, это наша дорога и есть.

Действительно, буквально минут через пять мы вышли на грунтовку, на которой еще столбом стояла пыль от проехавшей машины, из которой сыпался песок – дорожка ровно бежала куда-то вдаль.

– А сейчас куда же, Ирина Алексеевна? – Крутила по сторонам головой Инга. – Ой, смотрите, какой-то человек идет!

Вдоль дороги шел, покачиваясь и не спеша, долговязый мужчина.

– Эй, стойте, стойте! – Закричали мы, не договариваясь, хором. – Подождите!

Высокий мужчина оказался парнем, молодым совсем и очень улыбчивым.

– Ну што, гарадскія? – Спросил он, опуская полную грибов корзинку на тропинку, вьющуюся вдоль дороги. – Заблудзілі трохі, бачу?!

– Да, вот заблудились, ты не подскажешь, как к речке назад вернуться? Мы там купались, и вот... Ты местный?

– Хадзіце за мной, пакажу зараз. Вось там павернеце з дарогі і ідзіце ўправа, пакуль рэчку не ўбачыце.

Мы поблагодарили молодого юношу и быстро пришли назад в лагерь. Даже грибов по пути набрали немного – вдоль дороги их оказалось больше, чем в лесу. Или мы их не видели, пока болтали?

Всю обратную дорогу и потом дома весь вечер и ночь я не могла оставить мысли о том паренёчке, говорящем по-белорусски в отличие от моих, столичных, ребят. Что-то он еще сказал тогда, но я никак не могла вспомнить.

– Так... – Пыталась я сложить обрывки короткой перекички с ним в лесу. – Я спросила «Ты местный?», а он что-то про партизан сказал. Что? Что?

Уснула только под утро, а проснулась от того, что вспомнила, вспомнила слово в слово. То ли во сне, то ли еще наяву в голове стучали его слова полувслух: «Ага, месны я, партызан тутэйшы, з Асееўкі».

Партизан из Асеевки с черными, как смоль, как у Пети, глазами и с его утиной походкой.

На мой рассказ Петр отреагировал, как всегда, – принес валерьянку.

– Ну, тихо, тихо, успокойся, милая. Тебе в каждом мальчишке черноглазком с причудливой походкой Юра видится. Успокойся.

А я закрывала глаза и видела Петра там, в лагере, раскачивающегося, а потом – его, этого «партизана» из Асеевки...

Я постепенно, кажется, уговорила себя, что тот деревенский паренёк никак моим сыном быть не мог, просто общего много. Или даже это мне показалось...

Прошла целая неделя, а я все вспоминала, как он выглядел, что говорил, как голову повернул. И все можно не принимать во внимание, даже речь деревенскую, в Минске-то по-белорусски мало, кто говорил – перемешались за годы войны еще больше, на одном языке там все разговаривали, на русском. Но вот походка... Походка, как почерк, второй такой не бывает. Он топал по узкой тропке так, будто шел по палубе корабля, которого никогда в жизни не видел, как гусь впереди семейства, как мой муж.

Раз уж Петр не верит, подумала я тогда, съезжу сама. Попрошу кого-нибудь свозить или узнаю, как до этой Асеевки добраться. Страшно, одной страшно, но поеду. Вот завтра пятница, а в субботу уроков нет, вот завтра контрольную проведу в восьмом «А», и прямо после второго урока отпрошусь. Надо только расписание узнать.

Я так разволновалась в пятницу с утра, что вышла из дома, забыв в прихожей портфель. Только в учительской и заметила, что не смогу проводить контрольную – все необходимое осталось в портфеле. Слава Богу, Петр работает в двух шагах от дома, так что сможет выручить меня. И я набрала номер телефона его приемной.

– Доброе утро, Танюша! Пригласи к телефону Петра Ивановича, пожалуйста. – Попросила молоденькую новую девушку – секретаря суда.

– Ой... До... брое... утро, Ирина Алексеевна... – Татьяна, как пьяная, затянулась в удивлении. – А... это...

– Что случилось, Татьяна? – Наступила моя очередь удивиться.

– Не знаю, Ирина Алексеевна, почему Петр Иванович Вас не предупредил, но он же с утра занемог и сказал, что на больничном. Просил перенести все дела на понедельник.

Домашний телефон не отвечал, потому я отправилась, встревоженная, к директору с просьбой перенести контрольную и срочно меня отпустить.

– Да идите, идите, конечно, Ирина. Нет вопросов даже, впервые у Вас такое ЧП районного масштаба. Перенесите контрольную, а сегодня труды пусть будут, идите, идите, я сейчас сам все организую. – Похлопал по плечу директор, фронтовик и добрейший из добрых, Адам Адамыч.

Как ни странно, дома не было никого. Портфель мой стоял приготовленным у порога, никаких признаков того, что Петр возвращался домой, тоже не было. Я пометалась по квартире, но потом решила, что за больничными, вообще-то, отправляются в поликлинику, а значит, надо искать там. Мне только странно было одно – еще никогда в своей жизни ни Петя, ни я не брали никакого больничного, так как-то, подручными травками лечились, терпели, а на работу ходили. А тут...

Подозрений в какой-то дуроте вроде измены, у меня никогда не было, и от этого я поникла совсем в своих догадках.

В поликлинике людей не было, врачи слонялись туда – сюда из кабинета в кабинет с кружками горячего чая. Спросила на всякий случай – нет, не был, не видели, не заходил.

Единственное, что пришло на ум – то, что, возможно, Петр устал, нервы или неприятности, и отправился к другу Мише, своему старинному знакомому, который много старше и пенсионер уже с недавнего, и который живет в Мачулищах.

Раз уж получился у меня незапланированный выходной, взяла с собой припрятанную до ближайшего праздника железную коробку с печеньем, и решила поехать к Михаилу – и в разведку, и нервы свои полечить – он очень хороший доктор по этой части. Думаю, вот расскажу ему про свои догадки – печали, поговорю, и все пройдет. А, кстати, у Миши есть драндулет какой-то в рабочем состоянии, может, с ним и съездим в эту Асеевку, раз Петя наотрез отказался.

Уже на подъезде к Мачулищам, я пожалела, что делаю это. Вдруг мужики по душам поговорить хотели, а я приеду. Никогда Петра не проверяла, а сейчас будет ситуация некрасивая. Но было уже поздно думать, кондуктор крикнула «Тормози!», когда автобус подъехал к продуктовому магазину – там я просила остановиться, чтобы не возвращаться далеко от остановки к дому Михаила.

Увидев меня в распахнувшейся калитке, тетя Вера, жена Михаила, выронила тряпку из рук – домывала полы на веранде.

– Ирочка?! Да что там у вас стряслось-то? С утра пораньше Петр приехал, Мишку забрал «по делу», сказал до вечера, а, может, и больше, да укатали куда-то, тут – ты?..

Мы с ней понедоумевали немного, но предположений не было никаких.

– Может, Петру какой бандит угрожает, или что-то там еще, ну, с судами его, имею в виду?.. – Предположила Вера Васильевна.

– Нет, тетя Вера, точно нет. Я же в курсе всех его дел. – Вздохнула я, допивая третью чашку чая с повидлом.

– А что, рассказывает?

– Ага, конечно. Вы думаете, судья сам принимает решения? С женой по ночам советуется: что, да как. – Улыбнулась я в ответ.

– Ты что?! Правда? Это хорошо – женщина плохого не насоветует. Тем более, умная, как ты. Это хорошо, а то бы мужики так насудили, всех перестреляли б давно.

Двигаться не хотелось, и с мы с Васильевной проговорили до самого вечера, до последнего автобуса на Минск. Я и про мальчишку того, про «партизана» из Асеевки рассказала, она мне тоже горе все свое выплакала. Они в войну детей потеряли под руинами, двух девочек уже почти взрослых.

Еще с остановки я увидела свет на кухне и до самого порога не шла – неслась пулей. Предчувствий не было никаких: ни тревожных, ни хороших. Просто очень уж волновалась до самой двери.

Вошла в квартиру, не встретив у порога, как это было всегда, Петра, готового тут же помочь снять пальто и чмокнуть в щечку. Меня просто никто не слышал – в матовом стекле закрытой кухонной двери маячили фигуры.

– Выпивают. – Сразу поняла я и по смеху, и по громкому разговору, и по табачному дыму, который в нашем доме бывал редко, только с приездом Миши. Иногда и Петр курил и смешно на меня покрикивал «Молчать, женщина!».

– Ага! Все понятно! Застукала?! – Весело крикнула я, распахнув дверь.

И тут же забыла, что умею разговаривать, как все люди. Во мне все умерло на какой-то миг от увиденного – за круглым столом сидела целая компания: Петя с Мишей лицом к двери,

а, сидящие ко мне спиной другие двое, повернулись и поздоровались, уставившись удивленными и виноватыми глазами. Стали медленно подниматься из-за стола, приветствуя.

– Ну, тихо, тихо, Ириша. – Тут же подхватил меня Петр. – Давай, без валерьянки, прошу. Ты сына просила? Вот тебе сын наш Юрка! Он Юрка и есть, представляешь?! Его так Юркой и назвали люди, чудо, понимаешь...

Он еще что-то говорил и говорил, плакал, хохотал, все шумели...

А я смотрела на растерявшегося совсем своего «партизана» и не могла протянуть онемевшие руки, чтобы его обнять.

– Здравствуйте... здравствуйте... – Говорил мой сын, стесняясь и улыбаясь как-то виновато...

Так в нашем доме появился, спустя почти семнадцать лет наш ребенок и, ставший теперь ближайшим родственником, его названный отец, бывший фронтовик Анатолий. Он и рассказывал всю ночь нам, родителям, историю о том, как выжил и как жил до сих пор наш Юра.

И думалось мне тогда, что наступило, наконец, мое счастье и больше уж в жизни желать просто нечего. Эх, кабы так и было...

– А догадались как люди назвать-то его так, Юрой?! – Все не мог уgomониться Петр.

– Так, а его наш пацан из отряда нашел, Юрка. Мальца принес, мальчика откачали, а его самого подстрелили. Вот и назвали в честь спасителя Юркой.

А было так...

Если вы думаете, что дальше нас ждали долгие дни, месяцы и даже годы привыкания, приживания, вживания в семью, то я вас должна разочаровать немного. Юра, как появился в тот вечер в доме, так и врос в семью, будто вышел однажды из своей комнаты и вернулся теперь в нее. Ну, разве что подрос за это время. Удивительно, как мы повторяемся в детях – гены делают свое дело. У Юры были все повадки Петра: и улыбался так же, и так же морщил нос, когда что-то не ладилось, так же указательными пальцами тер виски, когда думал о чем-то, даже смеялся, как Петр, слегка запрокидывая назад голову. В нем, выросшем в маленькой деревушке, чувствовалась интеллигентность и тонкость закоренелого породистого горожанина. По-русски он говорил, оказалось, не хуже нас, но из принципа и патриотического настроения старался говорить по-белорусски с теми, кто мог его поддержать.

Пока Анатолий Иванович рассказывал о том, как в партизанском отряде появился маленький и полуживой ребенок, мой сын, я сидела, онемев, на принесенном Петром из комнаты стуле и смотрела на Юру. Взяла его большие ладошки с длинными, как у Петра, пальцами и держала, вспоминая, как тогда, много – много лет назад, той тревожной ночью, точно так же перебирала его пальчики, мечтая совсем не о таком завтрашнем дне, который случился. А Юра просто улыбался и, казалось, что всегда тут и был, не пропадал никуда, не терялся. Мне было страшно подумать теперь, что было бы, не брось я тогда его в сугроб к этой, ставшей мне теперь таким дорогим человеком, неизвестной женщине.

– А Вы, Ирина, не переживайте так, не переживайте. Вы, наверное, думаете, как Юра к вам с Петром привыкать будет, как полюбит вас заново, и такое всякое волнительное себе представляете, да? Нет, Юрка – хлопец хороший, умный. Весь в Петра, сразу видно. – Хохотнул Анатолий и похлопал дружески Петю по плечу. – И он ждал вас, он же все знает, ему все рассказывали. А я пообещал, что всю свою жизнь положу на то, чтоб найти родителей, если живы. А вы – вон какие! Живы! Это ж надо такое, чтоб сами нашлись! Во как! Это ж надо заблудиться в трех деревьях Вам тогда, чтоб найтись! Кому скажи – не поверят!

От такой радости общей обстановка становилась все непринужденнее.

– Мам, а дзе, то есть где, я жить буду? – Юра сказал это полупшепотом, стараясь не вовлекать в разговор мужчин. – Папа говорит, чтоб я с вами жил, домой возвращался, но.... А ты,

как скажешь? Я не обижусь. И я, наверное, пока не смогу к вам... Мне там, в деревне, пока жить надо. Я потом все объясню.

– Еще чего, Юра! – Возмутился муж. – Мы же все обсудили, да и обсуждать нечего – домой, срочно домой! А с Анатолием видеться будешь, когда захочешь. Нам много дел порешать надо: и бумаги в порядок привести, документы, и наши, и твои, и, самое главное, надо же с учебкой что-то думать. Ты учиться-то дальше собираешься? Поступать куда-то?

– О! Планов у нас – громадьё, люди! Мы ж в хирурги решили податься! Юрка у нас тихоня – тихоней, а себе на уме. Сейчас вам как родителям уже пожалуюсь, наконец! Влюбился, так влюбился он...

– Дядь Толь... – Под столом, стесняясь, одернул Анатолия Юра. – Не надо...

– Чего не надо?! Это твои мамка с папой, все знать должны! – Отмахнулся Анатолий Иванович. – Так вот, влюбился, втюрился в Лизку. А она у нас хорошая девушка. Но беда с девкой. Краса-а-авица, с ума сойти какая! С одного бока. Она с одной стороны – красавица, а с другой лицо война попортила, спалила. Прячется, стесняется. Так Юрка пообещался хирургом стать, чтоб это безобразие ее с лица убрать. Говорит, кожу поменять можно, будет на это учиться. У нее правая сторона красная вся, опаленная пожаром. Деревенские дети дразнили и головешкой, и замарашкой, в стороны разбегались, как видели. Долго она приживалась у нас в деревне. Мы и нашли-то ее недавно. Лет пять назад, да, Юр? Она, Лизавета, за ним хвостиком ходит, книжки медицинские зубрят по ночам, в институт медицинский оба собрались поступать. С фельдшером нашим по больным ходят, учатся и уколы колоть, и бинтовать, и все такое. И ждет наш Юрик, когда ж восемнадцать исполнится, чтоб жениться скорее, а я говорю, что рано, женилка еще не выросла, никто от тебя красавицу твою не уведет.

– Ну, пап... – Юра зарделся и обиделся в этот раз серьезно.

– Юрочка, – я подошла и обняла его за плечи, – не обижайся, мы про все, про все с тобой поговорим еще, все успеем, все решим. Не обижайся на... кстати, а что это ты то по имени, то папой Анатолия Ивановича? Ты, если привык, так и продолжай его отцом называть, мы же все понимаем. Лучше пусть теперь у тебя два отца будут, чем ни одного.

– Да Юра всегда так. Я его учил всегда, что и я – отец, хоть и не настоящий, и есть где-то кровный, родной. Только не знал, что рассказывать, ни одной ниточки, чтоб зацепиться, не было. Мы же вас искали, он знал, что я – приемный, что просто помогаю жить, пока не найдем кого-то. Начали с тетки Люды поиски...

Юра впервые так тепло сжал мои руки, что я поняла – оттаял, понял, что дома, что наш. Глядя на нас, Петр расплылся в улыбке мимозой и все приговаривал: «Это ж надо... это ж надо...». А Михаил наливал по полрюмки, и каждый новый тост повторял предыдущий – «За победу! За встречу! За нас!».

– Так вот, – продолжал Анатолий Иванович, значит, начали мы с тетки Люды, ну, той, что Юрку-то нашла в палисаднике своем. Решили так, что, если именно к ней кто-то дитя принес, так, значит, какое-то знакомство с ней имеет. Обнаружилось... обнаружилось, значит, когда всю семью-то я из архивов ее достал, что и муж ее, и дочка с зятем, и внуки, погибли в первые же дни. Накрыло их во время бомбежки. Сразу, всех. А выжила только маленькая. Лиза. Ей еще и года не исполнилось тогда, зимой она родилась. Так вот, Лизку нашли, ее соседка, бабуля столетняя забрала. Нашли мы ту Лизку, а она, как бродяжка, голодная, холодная, у бабки этой вместо котенка в доме. Обогретая, досмотренная, да и всего-то. В школу не ходит, от людей прячется. Еле-еле, правдами-неправдами, силком, можно сказать, забрали ее сюда же в деревню. Решили, что надо Людмилу Авдеевну нашу отблагодарить хотя бы так – внучку ее в люди вывести, на ноги поставить. Вот и живем так, втроем, да, Юр?

Юра поддакнул понуро. Теперь мне стало понятной его грусть – влюбленный парень ни за что не бросит девчонку, если у них там серьезно. Если бы не этот рассказ про то, что это за девочка, чья она, я бы, наверное, по примеру любой другой матери, тут же воспротивилась

такой внезапной преграде на моей любви, но случай особенный, тут надо пока помолчать. Есть персонажи не менее важные теперь.

Всю ночь мы проговорили. Юра сдался первым. Мы уложили его спать, посидели рядом с Петром, как над маленьким и вышли на цыпочках из спальни только, когда он, уставший от волнения и внезапно обрушившихся на него переживаний, наконец, уснул.

Незаметно подкралось утро. За окном стояла такая тишина, что казалось и она слушает тревожный, такой нужный нам всем, рассказ Анатолия Ивановича.

Партизанским отрядом разношерстную группу людей, слегка вооруженных, слегка одетых в лютый мороз и вконец оголодавших назвать можно было с натяжкой. В отряде было много и женщин, и детей из окрестных, захваченных фашистами деревень. Если от холода еще как-то можно было согреться в построенных землянках, то кормиться в лесу зимой было нечем.

В тот день решили рискнуть – отправить в ближайшую деревню Асеевку разведку. У Юрки, веселого рыжего парня из отряда, лет семнадцати, но очень серьезного и рассудительного не по годам, в Асеевке жил дед. Он, Юрка, потому знал там все ходы и выходы. Вот и вызвался сходить, да разузнать обстановку и раздобыть какой-то еды, чтобы хоть детей прокормить. А дальше нужно было решать, как действовать, чтобы выйти на своих, присоединиться к настоящим партизанам, если еще кто-то уцелевший в округе есть. Юрка и немецкий хоть немного знал.

Говорят, что нет безвыходных положений. Есть. Положение было безвыходное. Зима вся еще впереди, вокруг – немцы, а, главное, нет информации, что вообще вокруг творится, есть ли кто-то рядом из наших, или самолеты немецкие летают уже по своей новой стране.

Почти сутки прошли в ожидании, которое было ненапрасным. Юра наш вернулся с нагруженными доверху санями. Едва показавшись на горке, поросшей молодыми сосенками, он упал, и сани, груженные доверху поклажей, медленно сползли к нашим ногам сами. Юра истекал кровью, и как он дошел до лагеря, было просто непонятно – при таком ранении и при такой потере крови, казалось невероятным то, что он вообще мог передвигаться.

Последнее, что он успел рассказать – в деревне немцев нет. Были и ушли. Назначили его деда старостой. Так что с провизией помогать будет. Как сможет. Но в деревню показываться не стоит, опасно. Только к нему. Он живет в крайней хате, возле старой фермы, собаки нет, приходит ночью с заднего двора, зовут Антосем. Медикаменты, какие – никакие, соберет.

Мы слушали его, понимая, что это последние слова нашего рыжика – весельчака, забыв даже про санки с едой. Юра «уходил»... Женщины плакали, дети, сильно перепуганные, стояли, онемев вокруг все больше расплывающегося на снегу кровавого огромного пятна.

Вдруг сани пискнули тонко в этой слегка шумящей лесной тишине.

– Ребенок там... в мешке... тут, за горкой... недалеко... бабка обмороженная... живая... дитенок этот... с ней... привезите ее... не смог я... меня там... за Асеевкой... на грузовике немцы... я через поле шел... не успел... заметили уже, в лес входил когда... очередь из авто... ма... та... – И Юркина голова упала, как подрубленная. Мы сняли шапки...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.